

# Талант и мужество

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ВАНДЫ ВАСИЛЕВСКОЙ

Когда сегодня перечитываешь книги Ванды Василевской — «Облик дня», «Родина» и «Земля в ярме», — они предстают как одно целое, рожденное из единых творческих устремлений и направленное к одной цели. Это волнующая трилогия, в которой писательница последовательно раскрывает, как буржуазно-помещичий строй Польши, этого лоскутного государства, искусственно созданного версальской системой, угнетал миллионы рабочих, батраков, крестьян, весь трудовой народ, отданный под панское ярмо.

И сегодня по-новому, сильнее, чем раньше, ощущаешь, с какой замечательной настойчивостью писательница, в условиях жесточайших цензурных и жандармских преследований, осуществляла свою идейную и творческую задачу. Видишь, как от одного произведения к другому крепло дарование Василевской, убедительнее становились ее слова, громче звучал протест и призыв к борьбе за подлинно свободную жизнь трудящихся. Трудный творческий путь Ванды Василевской может служить примером многим передовым писателям капиталистических стран.

«Облик дня» Ванда Василевская назвала «повестью-репортажем». Она хотела вложить в эту книгу весь свой опыт художника и человека, показать человеческое горе, страдания и мечты обитателей городских окраин, показать страшные будни польского городского люда, облик его черного дня.

Это была значительная и смелая задача. Не случайно «Облик дня» — почти единственное художественное произведение в польской литературе последних двух десятилетий, в котором правдиво отображена жизнь городского пролетариата. Печатались романы вроде «Накануне» Густавы Яроцкой, где беглое описание забастовки или упоминание о коммунистах служили «социальным фоном» для бульварно-эротической темы. Были произведения вроде «Черных крыльев» Ю. Калден-Бандровского, где автора гораз-



Ванда Василевская

до меньше занимали судьбы рабочего класса в Польше, нежели преуспевание польских капиталистов и их попытки состязаться с иностранным капиталом. Но только Ванда Василевская нарисовала правдивую картину неприглядной жизни рабочих кварталов польского города. Уже это одно делает честь писательнице.

В «Облике дня» Василевская стремилась всесторонне описать жизнь польского пролетария в быту, в труде, на баррикадах классовой борьбы. Именно поэтому, вероятно, она избрала жанр повести-репортажа, давший ей возможность в коротких, но выразительных зарисовках показать и польский классовый суд, и бюро по найму прислуги, и ломбард, в который относили последнюю, в течение долгих лет свято хранимую семейную реликвию, и рынок, где беднота продавала свой последний скарб, чтобы купить кусок хлеба для голодных детей.

Не случайно писательница всячески подчеркивает: то, что она пишет о



мытарствах Анки на фабрике, в равной мере касается тысяч подобных Анок, Зосек, Элек, Манек; то, что сказано о борьбе Анатоля, можно было бы сказать о борьбе тысяч Антков, Викторов, Генек, Зосек и Анелек; то, что рассказано о переживаниях Стефека в школе, относится к сотням подобных ему Владеков, Бронекон, Яськов, Казиков.

Перед читателем предстала страшная картина польской школы, где все было предназначено для того, чтобы калечить человеческую душу, где насаждались ложь, лицемерие, фальшь. В этой школе учительница притворяется святошей; учитель, от которого несет водкой, часами ратует за трезвость и вколачивает рабскую премудрость при помощи палки; ксендз шпионит не только за учениками, но и за их родителями... Вот та «троица», которой доверено воспитание юных душ.

«Он сидит в классе тише воды, ниже травы. Внимательно читает рассказ о послушном мальчике, который не стал красть яблоки у соседа и за это получил их целую корзину. О том, как примерная девочка нашла кошелек с деньгами, отнесла его богатой даме, и та взяла ее себе в дочери. О любящем сыне, который сэкономил деньги на сладостях и купил больной матери лекарство. С притворно-учтивым видом он рассказывает эти занимательные истории, украдкой толкая под скамейкой товарища. Ведь всем известно, что никто не даст корзинку яблок даром. Если бы девочка не отдала денег, полицейский отвел бы ее в каталажку. Никто не возьмет добровольно чужого ребенка себе на шею, у каждого своих достаточно. Нечего сказать, хорош тот маменькин сынок, который будто бы сэкономил деньги на «сладостях». Все это вранье несусветное. Откуда он взял столько денег, чтобы покупать сладости и при этом экономить на них? Какой-то дурак написал эту книгу, а им велят учиться по ней...»

Дети рабочих окраин отлично разбираются и в лицемерной системе воспитания и в самих воспитателях.

Удивительно ли, что они ненавидят школу, что ребенок со школьной скамьи иной раз попадает на скамью подсудимых. «Юзик с товарищами разбили окно в подвале у кабатчика, стащили колбасу и немного водки... Все знают, что отец у Юзика второй год

без работы, ребятни целая куча, младшие дети побираются». И писательница в скупых, но выразительных строках нарисовала польский суд, где при слове «закон» ироническая усмешка пробежала по лицам всех присутствовавших, где для несчастных Юзиков уготован был один путь — путь новых преступлений.

Удивительно ли, что дети бросали школу, не окончив ее, и уходили на улицы продавать газеты, в мастерские, на фабрики.

Страшно влияние улицы, как омут засасывавшей ребенка. «Молодежь, будущее народа, — писала Ванда Василевская, — сидит съезжившись от холода на длинной деревянной скамейке у двери вокзала. Босоногий подросток с усыпанным прыщами лицом, — «незаконный» сын Терезки из переулка. Тонкий, как глист, Ясик; его отца повесили за грабеж. Генька — дочь дворничихи. Они затягиваются подобранными в мусоре окурками, далеко цыркают на пол слюною, тихонько о чем-то разговаривают, опасливо оглядываясь через плечо...» Их мечтой был ночлежный дом, в котором ночевала «аристократия», в котором ночлег стоил тридцать грошей и вшей было больше, чем соломы. Но и это для них недостижимый комфорт.

Более счастливые попадали в ученье к мастеру, но там, вместо того чтобы обучаться ремеслу, они должны были заниматься уборкой по дому, нянчить детей мастера.

«Через два года он не умеет еще сшить ботинок, скроить пиджак, переплести книгу. Понятное дело: если бы выучился, то не стал бы уже бегать на посылках, стирать белье и готовить пищу, зазнался бы парень. Стало быть, надо потихоньку, не спеша... Безнадежно однообразные дни. Долгие, непосильные, тяжелые, изнурительные. Спина горбится, воспаленные глаза обведены красными кругами, болят исколотые, ушибленные, обваренные пальцы». А если «ученик» чувствует себя уже слишком взрослым, чтобы нянчить детей, и делает недовольное лицо, когда его в несчетный раз гоняют с поручениями, если глаза его загораются злым блеском, когда мастер замахивается на него кулаком, — мастер отказывается от непокорного ученика, находит новую жертву, чтобы через два года и этого выбросить на улицу недоученным.

Флорек ушел из мастерской и нанял-



ся на кирпичный завод, где копали глину его брат Мундек. В одном маленьком эпизоде Ванда Василевская показала, что представлял из себя этот завод, какой режим существовал для работавших на нем. У ямы, где копали глину, вдруг поднялась суматоха. Флорек посылают посмотреть, что случилось. «Обрадованный неожиданным перерывом, Флорек мчится во весь дух, расправляя онемевшие мускулы. У ямы собралась уже целая толпа. «Мундека засыпало», — говорит побледневший тачечник». Флорек, как ошалелый, стал откапывать — обвалился целый откос. Когда показались растопыренные пальцы, затем рука, Флорек бросился на колени и стал разрывать землю руками. Мундек лежал в яме с иссиня-багровым лицом, с глиной в волосах. Задавило сразу. «Со всего завода сбежался народ. В глубоком молчании стоят на краю ямы. Смотрят вниз. На иссиня-багровое лицо, на всклокоченные, залепленные глиной волосы. Приказчик уже пришел в себя. — Что это за непорядки? Становитесь сейчас же на работу! Не зевать здесь! Живо! По местам! Вонсик, бери с Лучаком труп и неси в сарай! — Берут — один подмышки, другой за ноги. Голова свисает. Флорек хочет подержать ее. — Ты зачем здесь? — Я — брат... — отвечает Флорек сдавленным голосом. — Брат? Ну так что же? Они справятся вдвоем... Мигом принимайся за работу... Работа не ждет!»

Ванда Василевская заставляет читателя понять, что этот кирпичный завод — не исключение. На текстильной фабрике, где работала Анка, тот же невыносимый, тяжелый, потогонный труд. «В глазах работниц... только одна мысль: не опоздать, не проглядеть ни одной оборвавшейся нитки, потому что работа сдельная. Два золотых — плата за восемь часов труда — подгоняет как самый беспощадный бич, не давая ни перевести дух, ни вытереть пот, большими каплями выступающий на лбу». С гулом машин в ткацком отделении соперничал кашель работниц — «одинаковый, сухой, пронзительный кашель», которым кашляли все, попадавшие в этот убийственный, застоявшийся воздух, пропитанный удрушливой пылью.

Но и этот каторжный труд, одинаковый для всех фабрик и заводов Польши, не был пределом страданий польского рабочего, наоборот — он стал пределом мечты для тысяч, лишенных

всякой работы. Одной незначительной деталью Василевская показала это с потрясающей убедительностью. В суде разбирается дело о краже пальто. Судья спрашивает обвиняемого, какая у него профессия. Тот отвечает, что прежде он был слесарем. Судья не понимает, что значит это «прежде». И Василевская пишет: «Оборванный человек не умеет объяснить, что значит «прежде». Это значит: когда была работа, когда не надо было красть пальто, чтобы прикрыть расплывающиеся брюки. Когда он брился два и три раза в неделю, когда у него было рабочее и праздничное платье, когда он катал свою девушку на карусели и угощал ее пивом. Между этим «прежде» и сегодняшним днем лежит глубокая пропасть, такая же непреодолимая, как человеческая нищета и человеческое бедствие».

В этих зарисовках Василевская выступает как мастер художественного репортажа, чье имя должно быть поставлено рядом с лучшими мастерами этого жанра. Но «Облик дня» не только репортаж, а и повесть; мы видим в ней уже Ванду Василевскую-романиста, видим яркие, полные жизненной правды человеческие образы.

Через всю повесть проходит образ Анатоля — одного из тех, чье рождение было встречено без радости, неприветливо, кто прошел науку жизни в застенке польской школы, кто с детских лет познал всю тяжесть подневольного каторжного труда. Но Анатолю не пошел на улицу, подобно Ясеку или Геньке, не попал в тюрьму, как Юзик, — он отдал себя борьбе за то, чтобы Ясеки и Юзики не должны были заполнять трущобы панской Польши, чтобы Флорек и Анки не были вынуждены изнурять себя непосильным трудом на фабриках и заводах польских панов.

Ванда Василевская показывает читателю все этапы жизни Анатоля, представителя лучшей части польской рабочей молодежи и, следя за каждым его жизненным шагом, читатель понимает, что приход Анатоля к революционной борьбе — естественный, логический вывод из всего его жизненного опыта.

Анатоль не один. Все более росло число тех, кто обращался к жертвам подъяремной жизни со словами призыва, указывал путь борьбы. «Как огненная стрела, пронизывает его голос мрак зала», в котором собрались «Ан-



ки, Казики, Викторы, Геньки, Зоськи, Анельки или как их там называли при крещении... «брошенное в почву подвальных помещений семя дает плоды. Вырастает жатва ночевок под мостами, побирушничества на улицах; крепнет гнев умирающих от чахотки женщин, безруких инвалидов, тринадцатилетних подростков, согбенных в труде... Теснее сжимается братский круг... Плотнее смыкаются ряды... Гудит земля от шагов. Ноги в подкованных сапогах. Ноги в стоптанных башмаках. Ноги в старых резиновых туфлях. Ноги босые. Теперь эти люди по-настоящему выросли. Бесстрашными глазами смотрят они в тьму жизни, в мрачную пучину обездоленности. Знающими глазами борющегося человека». И Анатолий — это они. Они — это Анатолий. Он горит ненавистью к угнетателям и поработителям, любовью к борцам против насилия и угнетения, он весь проникнут энтузиазмом, который вихрем поднимает волосы, охватывает пламенем с головы до ног, когда Анатолий выступает перед товарищами, когда он раздаст хлеб бастующим, когда в пурпуре знамен он идет во главе демонстрантов, и приговором врагам трудящихся звучит победная песнь: «Мы строим новый мир!»

Под благотворным влиянием Горького Ванда Василевская создала образ матери-пролетарки. Это мать Анатолия, и путь ее во многом схож с судьбой Ниловны. Вместе с тем Василевская сохранила в трактовке этого образа творческое своеобразие, нашла собственные слова и краски.

Мать понимает Анатолия, сочувствует его борьбе, но, когда он дает ей почитать одну из революционных книг, она вздыхает: «Старая я, Анатолий, уж меня не переделаешь. Родители мне дали святой образ при крещении, и со святым образом положишь ты меня в гроб. Я не против тебя говорю, ты молодой, твоя жизнь иная. Но это уже не для меня».

Она ходит в костел и там молится за здоровье и счастье Анатолия. Когда сын спрашивает ее: неужели она сама никогда не бунтовала? — она перебирает в памяти события своей серой, неприглядной жизни: «Нет, конечно, не бунтовала. Ни в детстве, над которым навис тяжелый кулак пьяницы-отца, в детстве, наполненном стонами и жалобами вечно больной матери. Ни в лавке, где была на побегушках...

Нет, она не бунтовала, только плакала тихонько, чтобы никто не увидел... Ей даже в голову не приходило, что можно бунтовать. Бывало, выплачешь все слезы в костеле и снова принимаешься за работу... Не было места для бунта в неустанном труде и нескончаемых молитвах».

Однако незаметно для себя она становится иной. Она привыкает слушать беседы Анатолия с товарищами, хотя слова его, казалось, развенчивали то, чему она поклонялась всю жизнь. Она любит своего сына именно таким, каким он предстал перед ней, — весь отдавшийся революционной борьбе; она привязана к его товарищам, любит подругу сына — Натальку, радостно встречает ее, когда Анатолий приводит ее в дом, хотя они не венчаны, и их «незаконный» брак становится предметом сплетен.

В день восстания мать, как всегда, в костеле: надо ведь помолиться об Анатоле. Но она не может больше молиться. Услышав звуки первых выстрелов, она выбегает на улицу. «Высоко над толпой светловолосая голова. Как знамя. И мать уже спокойна. Анатолий... Ей нет никакого дела до того, что вокруг трещат выстрелы. Она следует глазами за сыном, за этой светловолосой головой, выделяющейся над толпой. До нее доносится его голос: резкие, отрывистые слова команды. Она не хочет уходить». И, когда она видит возле убитой лошади раненого юношу, она перевязывает ему рану платком, поднимает его, поддерживает, ведет к воротам, где хлопчет, белый, как мел, доктор. И так в течение всего дня: помогает перевязывать раненых, носит воду, собирает патроны. Даже мертвые не омрачают ее радости — она понимает, что «их не унесла черная, безмолвная, унылая смерть замученного трудом человека, они умерли смертью бойцов в свете разгорающейся зари, в пурпурном пламени зарева». И она думает: «В великий час...» Но губы ее уже не складываются для молитвы, молитвой звучит в ее ушах победная песнь восставших масс: «Мы строим новый мир!»

Другой сильный образ — это Вероника, — девушка, пришедшая в город из деревни. Она извела жизнь «в прислугах», с помыканиями сварливой хозяйки, с приставаниями «барина». В ее жизни была большая любовь, а затем, когда полиция разлучила ее с возлюбленным, она пыталась найти приют



с ребенком в родной деревне, но застав там все ту же нищету и голод, отступила назад, на прежний беспробудный путь. Мрачные, полуголодные дни в комнате под лестницей, проституция и, наконец, снова встреча с любимым Эдком и совместная с ним борьба за иную, радостную жизнь. В день восстания толпа на руках несет ее к фабрике, «Голос замирает у нее в горле, когда тут же, у своих ног, она видит Эдка, видит золотой блеск в его глазах. И знает — миновали все бедствия. Широкой, шумной волною покатится новая жизнь. Как тут говорить? Спазмы радости сжимают горло, слезы счастья заливают глаза... Только — Товарищи! — и все уже сказачо».

Правдиво и выразительно изобразила Ванда Василевская провокатора Игнаца. Она показала, какими жестокими, иезуитскими методами вербовали и удерживали свои жертвы польские жандармы и охранники. Писательница знала: такие, как Игнац, были единичным явлением среди рабочих, и им редко удавалось избежать бдительного глаза честных революционеров. Она сказала об этом в своей повести. Но она показала читателю всю омерзительность провокатора, вызывая не жалость, а презрение к нему.

В этой первой своей повести Василевская проявила себя как мастер реалистического повествования. Уже в этой книге она высказала ту идею, которая стала основной для ее последующих произведений: она показала, что у трудящихся панской Польши не было родины, которую они могли бы любить, которую они хотели бы защищать, что буржуазное «отечество» было врагом, против которого они вынуждены были бороться.

В диалоге Анатоля со старым рабочим Войцехом Ванда Василевская показала, к какому выводу пришли трудящиеся Польши:

«— Вы были на войне? — спрашивает Анатоль.

— Как же, был. В армию меня не взяли — стар. Но крепко одолела меня любовь к родине, и я решил поступить в легион... Хотя и в обозе, а все же боролся за национальную независимость.

— Тоже сказали: «национальная независимость...»

— Молод ты еще, жизни не знаешь. А я два года мытарствовал затем, чтобы, видишь ли, не австрийский или

русский какой-нибудь прохвост, а свой собственный, кровный, бил меня по морде... Тотчас после войны начались беспорядки, и у меня сделали обыск. Гляжу я, вся кровь бросилась мне в голову: стоит возле двери, улыбается — тоже узнал меня, тот самый шпик, что делал у меня обыск до войны. «О-о, это уже не дело! — думаю. — За что же я боролся, хоть и в обозе? За своего собственного, кровного шпика!» Очень не понравилось мне... Но что ты понимаешь?.. Молод ты, под ярмом неволи не стонал. Откуда можешь ты знать, какая разница, ударит ли тебя палкой по голове австрийская колбаса или наша польская глина (полицейский)!.. Ты, не в обиду тебе будь сказано, быть может, даже не понимаешь, что значит родина... Тебе, быть может, кажется, что безразлично, где ни работать. Нет, брат, это не так. К примеру, хотя бы у нас на кирпичном заводе. Степан зарабатывает пятьдесят грошей в день, но доволен. Потому что знает, на кого работает: на своих. Деньги, что ему недоплачивают, идут в польский карман, обогащают польскую страну. А что такое Степан? Простой человек, большого ума у него нет, а все же и он может работать таким образом на пользу родины. Когда зимой у него помер с голоду ребенок, он знал, по крайней мере, что это нужно для того, чтобы увеличить наш собственный польский капитал. Да, да... Это очень важный вопрос, Анатоль, где издыхать с голоду. На своей земле это просто даже доставляет удовольствие».

Интересно сравнить два издания этой повести: одно — полное, выпущенное в СССР, и второе — испещренное белыми пятнами цензуры, появившееся в Польше, и тогда становится ясно, чего больше всего боялись польские правители. Больше всего они боялись разоблачения казенного «патриотизма», отражения в литературе того краха всяких иллюзий насчет новой жизни на «самостоятельной» родине, который пережили широчайшие круги трудящихся. Характерно, что приведенный диалог Анатоля с Войцехом был вычеркнут цензурой. Остался вопрос: «Вы были на войне?» и лаконичный ответ: «Как же, был». А к каким выводам пришли тысячи и сотни тысяч Войцехов после того, как они «завоевали родину», об этом польские трудящиеся, по мысли польских правителей, не должны были знать, об



этом польская литература не должна была говорить.

В повести Василевской были вычеркнуты строки и страницы, в которых говорилось, что полицейские избивали арестованных, что в сыском заедали вши, что арестованные спали на голых досках и хлебали жидкий суп. Из повести были изъяты те страницы, где писательница показала, как польские жандармы вербовали своих шпиков, как они выслеживали раньше свою жертву, ловили ее в свою западню, а затем принуждали выдавать товарищей, не только суля недоступные в Польше гроши на кусок хлеба, но пуская в ход более решительные средства. Вычеркнуты были и строки о том, как революционеры разоблачали шпика и разрушали замыслы его хозяев.

И, конечно, польская литература не должна была говорить трудящимся о том, как в рабочих массах рос отпор насилию угнетателей и поработителей, как ширилась борьба против властелинов Польши. «В этот великий час несет его крылатая, многоголосая, громовая песнь по широким улицам города, расцветающим красной кровью искупления». Подобных строк не могло быть в книге, изданной в панской Польше.

Ванда Василевская мужественно сказала обо всем этом. И сколько ни старалась польская цензура вытравить крамольные строки, повесть Василевской и в изуродованном полицейщиной виде говорила читателю обо всем, что так неприятно было слышать правителям Польши: о жестокой трагедии полуголодного существования, на которое польская шляхта обрекла трудящиеся массы, о произволе и насилиях садистов, облаченных в офицерские мундиры, и о героической борьбе трудящихся против строя угнетения и бесправия. Повесть ее в равной мере была мужественной и талантливой.

Надо было подробно остановиться на этом первом произведении Ванды Василевской, потому что при выходе его в свет на русском языке оно не получило заслуженной и справедливой оценки. Враги, отщепенцы, примазавшиеся к советской литературе, злонамеренно пытались отыскивать в этой повести и недочеты формального характера, и идеологические изъяны: они были недовольны «репортерскими зарисовками». Они умышленно замалчивали главное — что эта повесть бы-

ла первой и осталась единственной, которая громко говорит правду о положении трудящихся в панской Польше.

Если в «Облике дня» Ванда Василевская сделала первую попытку показать, чем была «родина» для польских трудящихся, то во второй своей книге эта тема стала основной. Роман так и называется: «Родина».

Эта книга, несомненно, показатель дальнейшего роста и творческой зрелости. Писательница уже чувствовала себя в силах взяться за большое историческое полотно — показать на судьбе одного центрального героя судьбу миллионов, мрачную картину жизни польского батрачества на протяжении трех десятилетий, чтобы привести читателей к выводу, что «отечественные» угнетатели унаследовали те методы угнетения трудящихся Польши, которые применяли русский царизм и Австрийская империя.

Тридцать лет тому назад батраки ютились в мрачных, сырых бараках с маленькими оконцами, разделенными на четыре части. Из этих окон виднелся весь унылый батрацкий мир, «узкий-преузкий, крепко отгороженный от остального мира». В этих грязных бараках люди жили впроголодь, питаясь картофельной шелухой. Из этих барачков люди выходили на заре, когда сонная мгла стлалась над полянами, путалась в зарослях, оседала в ложбинах. Пока не стемнело, они трудились на барина, погоняемые управляющими и приказчиками более жестоко, чем лошади. И когда ночь спускалась на землю, люди возвращались в эти барачки, усталые, голодные, озлобленные, вымещали свою злобу на своих близких, на жене, на детях. Беспросветно, как осенний туман, тянулись барачные дни, и не было у людей ни малейшей искорки надежды на то, что эта жизнь может измениться. «Сказывали люди, что было время, когда мужики резали помещиков пилами, а управляющим вспарывали животы, точно свиньям. Может, правда, а может, и нет». Во всяком случае, теперь царила покорность, убежденность, что «мужик всегда останется мужиком, а барин — баарином».

Кржисяк — центральная фигура романа Ванды Василевской — воплотил в себе все вековые страдания польских батраков, все их горести и обиды. Он